

Вадим Шефнер

СЕСТРА ПЕЧАЛИ

И ДРУГИЕ
ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ



Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
III 53

Составление Александра Гузмана

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

В оформлении обложки использована автолитография
М. В. Добужинского «Львиный мостик на Екатерининском канале».

Россия, Петроград. 1922 г.

(Из Собрания Государственного Эрмитажа.

Фотограф С. В. Суетова)

- © В. С. Шефнер (наследники), 2025
- © А. Б. Гузман, составление, 2025
- © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2025
- © Оформление.
ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Издательство Азбука®

ISBN 978-5-389-30199-3

ОБЛАКА НАД ДОРОГОЙ¹

ПОСЛЕДНЯЯ УЛИЦА

Моя мать умерла, когда мне шел десятый год. Вскоре меня взяла на попечение дальняя родственница, жившая в том же Старо-Никольске и называвшая себя моей теткой. Хотя это и не вполне соответствует истине, но впредь в своем повествовании я тоже буду именовать ее так.

И вот поселился я в теткин дом на Последней улице. Как можно догадаться по названию, улица эта находилась на самом краю городка.

Дома здесь стояли деревянные, вместо панелей были деревянные же мостки, приятно пружинившие при ходьбе. Очень много было заборов, пожалуй больше, чем домов; эти длинные, глухие заборы из некрашенных, серых от времени досок казались мне тогда очень высокими.

Одним своим концом Последняя упиралась в поселок при фанерной фабрике и, как коридор, проложенный среди пустырей и огородов, соединяла город с хибарками поселка, но в то же время не принадлежала ни поселку, ни городку. Может быть, из-за этого, может быть, по каким-либо другим причинам, непонятным для меня тогда, но селились в те годы на этой улице всякие мелкие нэпманы, кустари, люди неизвестных профессий, а то и просто бывшие люди.

¹ Написано под названием «Плохое и хорошее» в январе — феврале 1947 г., в 1949–1954 гг. переработано, впервые опубликовано под названием «Облака на рассвете» в 11-м выпуске «Ленинградского альманаха» (Л.: Лениздат, 1956), а под названием «Облака над дорогой» — в одноименном авторском сборнике (Л.: Сов. писатель, 1957); также включено в сборники «Ныне, вечно и никогда» (Л.: Лениздат, 1963), «Облака над дорогой» (Л.: Дет. лит., 1969), том 2 четырехтомного собрания сочинений (Л.: Худож. лит., 1991) и др. В подобных сносках всюду учитываются, за редким исключением, только прижизненные издания. — *Здесь и далее примеч. ред.*

По утрам, когда издали доносился гудок, в редких окнах зажигались здесь огни, редко скрипели двери и калитки; почти не слышно было торопливых деловых шагов по шатким дощатым тротуарам; только собаки с ленивой, скучной злобой лаяли за старыми серыми заборами да утренний ветер шумел, шумел в садах, раскачивая ветви с черными вороньими гнездами.

Жизнь на улице начиналась позже, когда ученики отправлялись в школу.

Колька Мотовилов, мой всегдашний попутчик, проходя мимо моего окна, бросал через палисадник снежок в стекло — или кусочек земли, если дело было весной, — и я сразу же выходил из дому.

— Ужасно спать хочется, — начинал я разговор, — совсем не выспался.

— Мне тоже ужасно спать хочется, еле встал, — говорил Колька. — Вымыться опять не успел, еле-еле чаю попить времени хватило. Мать грозит: «Будешь в школу опаздывать — в детский дом отдам».

— Ну, она у тебя добрая, никуда не отдаст, — утешал я Кольку. — А вот меня тетка может отдать. Только ей наплевать, опаздываю я или нет.

— Все дерется?

— Вчера опять дралась. Говорит: «Зачем пальто по шву разорвал? Игорек бы так не разорвал, а ты рвешь».

— Ты про нее в школе бы заявил, а?

— Нет, она узнает, так мне еще хуже будет. Я от нее убегу когда-нибудь насовсем.

— Слабó тебе убежать. Лешка Горелкин в Крым убежал, так его живо поймали. Отец его еще взял да выпорол и спрашивает: «Тебе, Леша, не жарко?» Тот говорит: «Жарко». А отец сказал: «Вот это и есть Крым».

— Лешка плохо убежал, а я по-настоящему убегу.

И мы переводили разговор на что-нибудь другое.

Иногда нас обгоняла Валя Барсукова.

Она училась в той же школе, только классом старше. Легкой, торопливой походкой, чуть помахивая в такт шагам желтым маленьким портфелем, она шла по другой стороне улицы, не обращая внимания на нас, мальчишек. Туфли у нее были совсем как у взрослой, только на низеньких каблучках. Вся она была аккуратная, свежая, — уж она-то, наверно, мылась каждое утро.

— Большую из себя воображает, — бросал вслед ей Колька. — Стучит сапогами, думает, что очень умная.

— Да брось ты, чего она тебе сделала, — примиряюще говорил я.

— Ничего не сделала, а не люблю, когда важности столько. Знаешь, кто она? Она *кисельная* барышня, вот кто! — уничтожающе заканчивал мой приятель.

— Ты всех девчонок так называешь, — возражал я.

— А ты-то чего заступаешься? — Колька делал удивленное лицо и испытующе смотрел на меня, будто подозревал в чем-то.

— Да я просто так, мне-то что... — смущенно отвечал я.

Так мы с приятелем доходили до школы — минута в минуту, а то и на несколько минут позже.

В школе мне было хорошо — лучше, чем дома, и, должно быть, поэтому учился я с охотой и довольно сносно. Хорошо было и после школы, на улице, но зимой на улице долго не пробудешь, волей-неволей приходилось возвращаться домой.

— Ну, пришел-пожаловал! — говорила мне тетка. — Садись, жри! — И она наливала мне полухолодного супа в жестяную латку. Подогревать для меня обед она считала лишней роскошью. А жила тетка не бедно, была владелицей этого дома, держала жильцов, и всяких припасов и вещей у нее было много.

Меня она не любила, но не так, как не любят человека, а как не любят какую-нибудь ненужную вещь, занимающую лишнее место в комнате, — вещь, которую все-таки нельзя выбросить. Меня никак нельзя было выбросить: за отца, погибшего в Гражданскую войну, я ежемесячно получал пособие, — вернее, получала его тетка как опекунша.

В самом начале, когда я поселился у тетки, она относилась ко мне лучше, потому что забрала себе все вещи, оставшиеся от матери. Но вскоре она уже так привыкла к этим вещам, что считала их своими, а я ей только мозолил глаза.

Когда-то у тетки был муж, был сын. Но муж ее бросил, сын умер тринадцати лет.

Наверно, она его очень любила и теперь ей было обидно, что вот родной сын ее умер, а я, чужой мальчишка, живу — и ничего мне не делается.

Из скупости она не покупала мне одежды — одевала в то, что осталось от ее Игоря. Одежда была не по росту мне и потраченная молью; она рвалась на мне, и тетка за это меня наказывала.

На столе в гостиной стояла у нее карточка мальчика в матросской курточке, в бескозырке, на которой было написано: «Дельфинь».

При всяком удобном случае она сравнивала меня со своим умершим сыном — и это тоже служило поводом для затрещин.

— Вот ты сапожищами топаешь, как мужик, а Игорек-то никогда не топал, тихо ходил. А ну, подойди сюда, злыдень!

Или:

— Не торопись чай-то лакать, жаден до чужого! Вот Игорек, бывало, чай пил аккуратно, с аппетитом, смотреть на него было одно удовольствие.

Нехорошо думать плохое о мертвых, но день за днем передо мной возникал примерный облик этого Игорька, пай-мальчика и уж наверно — труса. И мне иногда хотелось, чтобы он был живым, этот Игорек, я полжизни своей готов был отдать, чтобы воскресить его, — как бы я отлупил его тогда!

Летом целыми днями околачивался я во дворе соседнего дома.

Странный это был дом! Среди местных жителей он именовался богородицыным домом, потому что когда-то занят был сектантами под молельню. Поклонялись эти сектанты богородице, но не той, что на иконах, а живой женщине, которая жила прежде при молельне.

Но ни «богородицы», ни ее поклонников здесь давно уже не водилось.

Это был единственный дом на Последней улице, вокруг которого не было забора (забор жильцы растаскали на дрова), и поэтому двор его был открыт для всех ребят улицы и служил местом игрищ и драк.

Здесь любили мы играть в красных и белых: борьба шла за вершину ледника, который, как курган, возвышался среди двора. Красные почти всегда били белых, потому что те стеснялись своего временного наименования и сражались без наступательного порыва. В глубине ледника, где давно ничего не хранилось, скрывалась наша пещера. В ней хорошо было рассказывать разные страшные истории; некоторые здесь тайком курили.

Какие странные люди обитали в богородицыном доме! Вероятно, потому, что дом давно был бесхозным, в него въехали те, которых вряд ли впустили бы в другие дома и которые вряд ли ужились бы в других домах, будь они туда пущены.

Жил там фотограф-художник Леопольд Барсуков. В центре городка была у него фотография, где он фотографировал на полотно. Здесь он сушил на крыше желтоватые куски материи, пропитанные какими-то химикалиями, и эти куски материи, словно флаги бедствия, развевались над домом. Фотограф-художник был тощий мужчина, очень добродушный и веселый, но иногда на него находил запой, и в такие дни он становился угрюмым и мрачным, придирался ко всем, плакался, что его не понимают.

— Особенно любят сниматься эти эпачи, — говорил он, нетвердо стоя среди богородицына двора, — иной из них рожу наел — решетом не накроешь, а в фотографию тащится да еще обижается — плохо вышел. Один вот такой ходил ко мне через день и каждый раз одеколоном перед съемкой душился. Я ему сказал: зря на одеколон тратитесь, на карточке запах не выйдет, — так он рассердился. Я снимаю его — и то не сержусь, терплю, а ведь я художником был, учтите!

Когда-то, еще до революции, он учился в Академии художеств, подавал надежды, но лень все съела. Был талант — и пропал. Есть несчастные матери, которые во сне наваливаются на младенца и душат его. Так и он — заснул свой талант и в одно горькое утро проснулся и понял, что ушло его время, а жить все равно нужно. И тогда он переименовал имя Андрей на Леопольд — для вывески — и стал фотографом.

Когда он начинал плакать и бить себя в грудь, приходила его дочь, Валя, и уводила домой. В Вале было столько спокойного достоинства, что никто не смеялся в такие минуты, никто не подшучивал ни над Барсуковым, ни над нею.

В одной из комнат нижнего этажа жил безвредный сумасшедший — дядя Коля. Про него говорили, что когда-то это был очень способный и даже ученый человек, но потом он неудачно полюбил одну знаменитую артистку — вот и сошел с ума.

Ходил дядя Коля в обносках, спал в раскрытом большом сундуке, почти доверху заполненном книгами. Все стены его комнаты были покрыты таинственными значками — это был шифр, которым он записывал свои мысли. Летом иногда он собирал нас, ребят, и, сидя на подоконнике, читал нам байроновского «Сарданапала» в своей переделке. Впоследствии, когда я прочел подлинного «Сарданапала», я с удивлением узнал, что этот исторический герой вовсе не занимался высшей математикой, в Крестовых

походах не участвовал и на Варе Паниной, цыганской певице, женат не был.

О дяде Коле местные жители отзывались хорошо:

— Конечно, сумасшедший, но культурный сумасшедший!

Иногда ему поручали всякие мелкие дела: он ходил в поселок за керосином, водил коз на луга. За это его подкармливали. Честен он был безукоризненно. Порой на него нападала любовь к чистоте, и тогда он по утрам до пояса мылся во дворе холодной водой; при этом на груди у него была видна синяя татуировка — надпись: «Тело свое завещаю науке».

Арендатором богородицына дома считался некий Португалов, не то бывший аптекарь, не то бывший архитектор — толком никто не знал. Он был высокий, худощавый, с черной бородкой клинышком, как у жюль-верновских героев. На правах хозяина он часто расхаживал по дому в кальсонах и в черном, наглухо застегнутом пиджаке. Если в дом входил кто-нибудь посторонний, Португалов говорил снисходительно-извиняющимся тоном: «Извините, я, кажется, в неглиже».

Когда мы играли в футбол перед его окнами, мяч иногда ударялся в окно. Стекол он разбить не мог — это был самодельный тряпичный мяч. Но Португалов выбегал на веранду с поднятыми руками и, размахивая ими над головой, кричал нам: «Это холуйство! Вы бьете мои стекла! Это холуйство!»

Мы его между собой звали Капитаном Немо.

МИЛАЯ ВАЛЯ

Только один человек в этом странном доме был простой, обыкновенный — это Валя Барсукова, дочь фотографа-художника. Но она-то и казалась мне самой непростой, самой необыкновенной.

Будь я художником, я нарисовал бы по памяти ее портрет. На этом портрете она сидела бы на шатких перилах веранды и смотрела бы вдаль. Только такой я ее и помню теперь.

Заметили ли вы, что после разлуки с человеком любимым или с человеком, которого вы часто видели, вам бывает трудно первые дни вспомнить его лицо? Вы помните весь его облик, но не представляете его зрительно, и лицо расплывается в вашей памяти, как будто его в тысяче разных выражений сняли на тысячу негативов и все эти негативы наложили на одну пластинку и прояви-

ли, — все смешалось. И лишь потом, со временем, в памяти отстает какой-то один образ — неповторимый поворот головы, улыбка.

И все чище и светлее становится этот образ с годами.

У Вали было много подруг. Они приходили к ней, болтали, о чем-то секретничали, как это обычно делают девчонки. Из ее окна часто был слышен смех, визг.

Однажды она уронила с подоконника зеркальце; оно не разбилось, потому что упало в траву. Мы, мальчишки, подняли его и не знали, что с ним делать, — это был предмет как бы с иной планеты. Смотреться в него и стыдно, и неинтересно, разбить его — девчонки взрослым нажалуются. Кончилось тем, что решили вернуть зеркальце по принадлежности.

— Ладно, я уж отнесу, — лицемерно-самопожертвенным тоном сказал я ребятам и по скрипучей лестнице медленно поднялся во второй этаж богородицына дома.

Толкнув дверь, я вошел в комнату, где жила Валя.

— Вот, вы уронили, нате, — насупившись от смущения, сказал я ей.

— Спасибо, мальчик.

Она спокойно взяла зеркальце и посмотрелась в него, словно проверяя его сохранность. Две ее подружки, сидевшие на диване, уставились на меня так, будто я очень смешной, но они не смеются только из вежливости.

Я успел оглядеть комнату. В углу высилась железная печь — большая, черная, круглая, как паровоз, вставший на дыбы. В комнате было много веселых вещей. На столе стояла большая лампа в виде китаянки, в руке китаянка держала розовый зонтик, служивший абажуром. Над диваном висел плакат, где были изображены две клячи, запряженные в телегу. На телеге лежали всякие товары, часть товаров валялась вдали на дороге, — видно, возница растерял их. Сам возница был желтый несимпатичный человек с ехидными зелеными глазами и в лазоревой кепке, на козырьке которой было написано: «Плохой кооператор». На лбу одной лошади было написано «Усушка», на лбу другой — «Утруска». Под копытами был напечатан стишок, который я сразу запомнил:

От этих лошадок не жди, друг, добра,
Давно их на бойню отправить пора!

Но если кооп славно дело ведет —
Ему потребитель хвалу воздает!

Действительно, сбоку в овале было нарисовано крыльцо кооператива; на крыльце стоял красный мужчина с широкой счастливой улыбкой и фиолетовыми глазами; ему благодарно жал руку голубой бородатый крестьянин.

Очевидно, я дольше, чем надо, находился в комнате, потому что одна из Валиных подруг вдруг фыркнула, за ней другая, — и я поспешно вышел из комнаты и побежал вниз по лестнице. За спиной я услышал уже несдерживаемый смех. Смеялись все трое.

Валя была обыкновенная, простая девочка. Но только такая ли уж простая?

Летом, под вечер, когда на дворе богородицына дома становилось тихо, безлюдно, любила она одна сидеть на шатких перилах веранды, глядя куда-то вдаль. Впереди был огород, за ним болотистое кочковатое поле с круглым прудом, в котором нельзя было купаться — пруд служил свалкой. Дальше, за полем, за прудом, за низкой волнистой стеной кустарника, разливался закат, розоватый и неуютный. «И куда она смотрит?» — думал я, украдкой глядя на Валю из окна теткиного дома. Мне хотелось пойти к ней на веранду, сесть рядом и смотреть вдаль и видеть то, что видит она.

Но я был робок, застенчив с девочками, да и какими глазами она посмотрит на меня, если я подойду к ней? Зачем это делать?

Мне становилось грустно, и я шел к своему приятелю, все к тому же Кольке Мотовилу. Жил он через три дома от меня. В прихожей Колькиного дома были сложены дрова и какие-то бочки, а на стенке торчали ветвистые олени рога, прибитые в стародавние времена для того, чтобы вешать шапки. Но шапок на рогах не висело — рога служили насестом: по вечерам на них всегда сидели четыре рябые курицы, а на самом верхнем отростке восседал рыжий петух; по утрам он кричал на весь дом.

Кольку я неизменно заставлял в чердачной каморке. Он сидел там и читал что-нибудь вроде «Пещеры Лейхтвейса» или Ната Пинкертона в выпусках — такие книги мы доставали на барахолке.

— Читал, как он Генриетту спас? — первым делом обращался ко мне Колька.

— Нет, я до этого выпуска еще не дошел, я только «Таинственное убийство под куполом цирка» прочел, — сознавался я.

— Ну, это что! Это я давно читал, ничего особенного, — презрительно говорил Колька, — под куполом всякий может. А вот это книжка так книжка!

И он показывал мне ядовито-желтую обложку, где был изображен красивый мужчина на коне и написано: «Дон Рамильо — благородный бандит. Выпуск 15».

— А как он ее спас? — любопытствовал я.

В ответ Колька начинал читать:

— «„Нет! Я не дам погибнуть тебе, прекрасная Генриетта!“ — воскликнул дон Рамильо и кинулся к горящей гациенде. В толпе мятежников-пеонов послышались трусливые крики ужаса: презренные приспешники коварного злодея метиса Хуареца знали, что восьмизарядный кольт благородного бандита дона Рамильо не знает промаха...»

Дочитав выпуск до конца, мы некоторое время сидели ошеломленные, подавленные. Нет, пожалуй, не стать нам никогда такими, как дон Рамильо. «Положим, у меня храбрости хватит, — думал я про себя. — Но зачем она здесь?.. Где здесь гациенда, где пеоны-мятежники?»

— Здорово он этого Хуареца-то кокнул, — начинал Колька. — Так и надо!

— И я бы так сделал, — говорил я. — Колька, а кто эти пеоны?

— Там вначале написано, что они сахарный тростник собирают; вроде как рабочие.

— А из-за чего они взбунтовались? — спрашивал я.

— Этого не написано. Ну взбунтовались и взбунтовались.

— А может, им плохо очень было, так они из-за этого? Вот у нас до революции рабочим плохо было, все и взбунтовались против буржуев.

— Так что же, по-твоему, дон Рамильо вместе с буржуями был? — возмущенно говорил Колька.

Получалось очень странно: такой благородный бандит — и помогает буржуям. Мы начинали строить догадки, но ни к какому выводу не приходили. В зарубежных делах мы с приятелем разбирались плохо. С одной стороны, мы знали, что там царят капиталисты, а бедным людям живется тяжело, с другой стороны, нам случалось читать приключенческие книги и смотреть иностранные фильмы, герои которых носились на автомобилях по гладким дорогам, мчались в экспрессах, выкидывали разные

веселые трюки в тавернах — одним словом, жили неплохо. Если эти герои и были бедны, то к концу фильма они становились богатыми.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

— Идем радио послушаем, — предлагал иногда Колька.

И мы шли к Мериносихе.

Вдова Мериносова жила в том же доме, где и мой друг. У нее было радио. Детекторный радиоприемник сделал ее сын, электротехник. Хороший простой человек, он работал на фанерной фабрике и почти никогда не бывал дома. Встречала нас всегда сама Мериносиха.

В ней поражало невероятно длинное, какое-то сплюснутое лицо; у обыкновенных людей такие лица бывают только тогда, когда смотришь на них сквозь стеклянный сучок. Есть такие стекла, отлитые плохо, они искажают наблюдаемый сквозь них предмет. Так вот, физиономия Мериносихи была искажена в длину, и, глядя на нее, невольно хотелось разбить какое-то несуществующее стекло и увидеть ее наконец по-настоящему.

Но не в лице дело. Это была скверная женщина, сплетница. Она никого и ничего не любила, в том числе и советскую власть. Но и советскую власть она не любила мелко, копеечно, как завистливые люди не любят какого-нибудь удачливого дальнего родственника или богатого соседа, — ненавидеть она не могла, для ненависти уже нужно иметь какое-то подобие души.

Едва мы включали приемник, настраивали на кристалл, едва надевали наушники, как она начинала мешать нам своими сплетнями.

Мы уже знали, что на свете есть немало плохих людей. Взять хотя бы Наполеона, который погубил много народу, или батьку Махно, или того же Ваську Копченого, хулигана с соседней улицы, — все это были вовсе не ангелы. Но это были враги так уж враги: делали они свои вредные дела с шумом, с треском, пощады никому не давали, — зато и их не щадили. А этой Мериносихе ничего нельзя было сделать — что с нее возьмешь? От нее исходил какой-то тихий, скучный вред.

Однажды Колька с моей помощью прибил к ее двери дощечку с надписью: «Просьба не выражаться»; почему-то это нам показалось верхом остроумия.

Но потом к Колькиному отцу пришел объясняться сын Мериносихи и просил больше не делать таких вещей.

А надо сказать, что отец Кольки работал в артели «Трудовик-эмальер», где изготовлялись эмалированные таблички с различными надписями. При всяком удобном случае Колька ходил к отцу на работу и выпрашивал там эти таблички, а то и таскал их незаметно. Он их прибивал в доме всюду, где мог, хоть отец и наказывал его за это.

Зато в Колькиной чердачной комнатухе, куда никто не ходил, висело много таких надписей. Над изголовьем своей постели Колька прибил их целых три: «Приемный покой», «Кабинет красного директора» и «Считайте сдачу, не отходя от кассы».

А над лазом на голубятню, на серой поперечной балке белела дощечка с надписью: «Цены без запроса». Голубей на этой голубятне давно не было, но мы любили днем забираться сюда на площадку; небо отсюда казалось совсем близким, оно было глубокое и синее, и какая-то странная, приятная тишина, совсем не однообразная и не скучная, царила здесь. Отсюда видно было поле с круглым прудом, в котором никто не купался, видно было и то, чего нельзя было увидеть снизу, — невысокое полотно железной дороги и тихие, неслышные, далекие поезда, идущие по насыпи.

И когда я глядел в эту сторону, я всегда думал о Вале, и мне казалось, что снизу, с веранды, ей все-таки все виднее, чем мне отсюда, и когда вечерами она так задумчиво смотрит вдаль, ей видна и железная дорога, и то, что за железной дорогой, и дальние леса, которых не разглядеть мне.

Впрочем, я знал, что это не так, но мне нравилось думать о ней именно это и верить, что все так и есть, как я думаю.

С тех пор как я заметил Валю, моя жизнь в чем-то очень переменялась к лучшему, только я не знал в чем. Ведь все было как было, все оставалось на своих местах. Но я стал видеть то, чего не замечал раньше, и мир становился для меня все шире.

Вот настала веселая, многоснежная зима. Теперь из школы мы с Колькой возвращались домой через парк, хоть для этого и надо было давать большого крюка. По дороге мы толкали один другого в сугробы, боролись, возились и домой возвращались потные, растрепанные. Сумок у нас не водилось; наши тетради, свернутые в трубки и засунутые в карманы, намокали так, что их потом приходилось сушить у печки.

Однажды мой приятель из-за чего-то задержался в школе, и я пошел домой через парк один. Вначале мне скучно было шагать одному, но чем дальше я шел, тем интереснее становилось идти.

В парке стояла мягкая, пуховая тишина; была та легкая предвесенняя оттепель, когда снег еще не тает, но становится сырее, податливее и уже по-другому скрипит под ногами. В синеватом тумане высились стволы деревьев, неподвижные и тоже слегка синеватые. Вот зябко закричала большая ворона, сорвалась с верхушки дерева, полетела куда-то — и было слышно, как воздух шуршит под ее крыльями. А у поворота аллеи стояла скамья, и снег лежал на ней таким толстым и ровным слоем, что скамья походила на диван в белом чехле.

Я свернул в боковую аллею и побрел, сам не зная куда. «Почему это все так хорошо, так красиво и интересно? — подумал я. — Почему так хорошо?»

Теперь, когда я видел что-нибудь красивое или совершал какой-нибудь хороший поступок (что, впрочем, случалось весьма редко), мне хотелось, чтобы Валя была здесь же, рядом. А если я видел что-нибудь плохое, скучное или сам поступал плохо и знал, что поступаю плохо, мне было стыдно перед Валею, хоть она ничего и не знала об этом, да и вообще не обращала на меня внимания — ведь она была старше меня.

ЧЕРНЫЙ КОЛОКОЛ

Пасха в том году была поздняя, когда уже все зазеленело.

В пасхальные дни мы, ребята, забирались на колокольни и звонили до одури, до боли в ушах. Всю неделю над городом стоял нестройный, похожий на набат трезвон; голуби-дикари перепуганные, стаями, как при большом пожаре, летали вокруг звонниц, не смея сесть на привычные карнизы.

Мне лучше всего помнится колокольня при Никольской церкви — она была самой высокой. С нее были видны окрестные деревни, речка, изогнутая вольно и легко, как рука отдыхающего человека, далекий железнодорожный мост блестел на ней, как стальной браслет; синяя продолговатая ладонь лесного озера виднелась в туманной размытой дали. А городок был весь открыт взору — как цветная карта лежал он внизу. Видна была и Последняя улица: две серые, скучные линии домов и заборов.

На колокольне этой среди других колоколов был один особенный, знаменитый на весь городок. Все колокола как колокола, все с фигурами каких-то бородатых святых на бортиках, и во все можно звонить в пасхальные дни сколько угодно. Но этот один занимал целый ярус колокольни, был он без всяких украшений, был темен, огромен, звонарь с трудом раскачивал его язык при помощи веревок и досок; мощные, наискось идущие балки подпирали его верхушку, какие-то переборки, крепленные грубыми коваными болтами, шли через весь ярус, но и они, казалось, гнулись, глухо стонали от несусветной тяжести черного колокола. А звон его был подавляюще гулок и в то же время глух, словно шел из-под земли: он проникал не только в уши, нет — он тяжело отдавался в груди, сдавливал дыхание. Было страшно стоять у трухлявых деревянных перил: казалось, звук толкает тебя; вот еще один размах языка, один удар по черному металлу — и этот гул припрет тебя к перилам, и они не удержат твоего тела, и ты упадешь вниз, в пропасть — туда, где тускло зеленеют деревья прицерковного сада.

Говорили, что отливала этот колокол знаменитый в старину колокольный мастер Никита Лобанов и что, когда готов был расплавленный металл, в яму с литьем свалился малолетний сын этого мастера. Еще говорили, что колокол сам звонит перед большой бедой. Впрочем, в это верили только старики да старухи.

По церковным праздникам к тетке приходили гости — жильцы дома и соседи. Поневоле приходилось и меня сажать за стол. Я пользовался случаем и ел напропалую, зная, что тетка не будет бить меня при посторонних. Так как все остальные дни питался я плохо, то после праздничного стола у меня обычно болел живот. Но хоть я и знал наперед, что живот будет болеть, однако все равно ел, не мог удержаться.

— В Бога не верит, верно, в пионеры хочет, а куличи-то жрет за милую душу, — говорила тетка гостям, показывая на меня.

А я сидел за столом, худой, потный, — и мне было стыдно, что на меня все смотрят, но голод брал свое, и я продолжал есть под холодно-наблюдательными взглядами гостей.

— И главное, никакой благодарности от него не вижу, — добавляла тетка. — Игорек-то, бывало, за каждый кусочек: «Спасибо, мамулечка», а этот — волком смотрит.

— Мягко вы его воспитываете, Александра Семеновна, мягко, — льстиво говорил Кургазов, теткин жилец, торговец-галантерейщик. —

Жалеете сиротку, а эти сиротки, ох, много дел делают. Вот из таких-то и выходят всякие комиссары да фининспектора!

— Да уж сама знаю, что слишком балую мальчишку. Дело мое вдовье, нет мужчины в хозяйстве, чтобы строгость навел, — размягченно отвечала тетка, украдкой поглядывая на Кургазова.

— Говорят, Последнюю нашу сносить хотят, — переводил разговор на другую тему некий Монин, тоже теткин жилец, и я облегченно вздыхал, зная, что сейчас оставят меня в покое.

— Ну, это давно говорят, не будет этого! — возражала тетка.

— Как знать, — настаивал на своем Монин, — они фанерную фабрику расширять хотят, часть улицы и отхватают.

— Мало им места, что ли? — бросал кто-нибудь реплику.

— Места-то много, да наша улица у них что бельмо на глазу!

— Ну, пока улицу сносить начнут, может, еще и война начнется, — солидно вмешивался в разговор Солнцев, человек неизвестной профессии, но с деньгами. — Слыхали, англичане-то опять грозятся!

— Нет дыма без огня! — с таинственным видом шептала Мериносиха, частая гостья тетки, и добавляла: — Я тоже от одной дамы слыхала, что война будет. «Дрова закупай», — говорит.

Со мной Мериносиха у тетки не разговаривала, она просто не обращала на меня внимания, а я и рад был этому.

Когда гости уходили, тетка подсчитывала, кто сколько съел, и жаловалась на жизнь.

Кургазов, остававшийся после ухода гостей, солидно поддакивал тетке:

— Да, жизнь нынче не та, что надо. Кругом утеснения. Вот мадам Змеюрковской солдата вселили. Живи да радуйся!

— Ой, да ведь и мне могут вселить! — с ужасом восклицала тетка.

— Вполне могут, — подтверждал Кургазов. И добавлял с тонким намеком: — Вполне могут, если ваше семейное положение как-нибудь не изменится.

Действительно, в двухэтажный дом Змеюрковской, что жила рядом с Колькой, недавно вселили по ордеру демобилизованного красноармейца.

Это был таинственный человек.

Занял он маленькую комнатку окном во двор и немедленно приклеил хлебным мякишем к двери бумажку с косой карандашной надписью: «Осколкам буржуазии вход запрещен!»

На правой руке его не хватало двух пальцев, а однажды, когда он мылся до пояса во дворе перед умывальником, мы с Колькой увидели, что вся спина у него в решетке синеватых шрамов.

Ходил он в длинной, до пят, кавалерийской шинели, на голове носил буденновский шлем с суконной темно-синей кавалерийской звездой. Ни с кем на Последней улице он не сходиллся, ни с кем не дружил, но с нами, ребятами, был добр и ласков.

Однажды он привел нас с Колькой в свою комнатенку, велел сесть на сундучок, а сам отрезал два куска хлеба, намазал их патокой из жестяной банки и дал нам. Мы ели за обе щеки, а он сидел на табуретке и как-то жалостливо смотрел на нас.

Комната была пуста и гола, и только на стене висел карабин с маленькой серебряной дощечкой на прикладе, а под карабином, в венке из высохших васильков, — фотография женщины с девочкой на руках.

ПЕРВАЯ НОВОСТРОЙКА

До революции в городке были две школы. После революции стало их три. Наша — Третья трудовая школа — временно помещалась в бывшем особняке купца Патрикеева, миллионера. Пожалуй, дом этот был самый богатый и вместительный из всех домов городка; недаром Капитан Немо — Португалов — отозвался однажды о нем с большой похвалой:

— Художественная постройка, чистый экстра-супермодерн.

Особняк, как гласила мраморная дощечка на фасаде, «был возведен по личному проекту архитектора Зуммер-Кобельницкого». Что и говорить, зодчий не пожалел творческих сил! Дом был украшен башенками и балконами; имелся и фронтон, на котором были вылеплены две змеи и один орел; окна в первом этаже были готические, во втором — мавританские. Особняк был облицован желтым глазурованным кирпичом; по карнизу, на лиловых и зеленых изразцовых квадратиках, пестрели бурбонские лилии, геральдические щиты и саламандры. Над парадным входом в круглой нише сидела алебастровая сова, в глаза ей были ввинчены две электрические лампочки, впрочем не горевшие; возле дверей в стену были вделаны две изразцовые плиты с изображением крылатых ассирийских быков.

Дом — что греха таить — мне тогда нравился, и только мрачные крылатые быки меня несколько смущали. Бывало, если придешь

вовремя, то у дверей всегда толпятся ребята и девчонки, и тут не до крылатых быков. Но если мы с Колькой опаздывали и подходили к дверям одни, быки смотрели на нас грозно и укоризненно. Однажды я спросил школьного сторожа, отчего у них крылья. «Символы», — кратко и многозначительно изрек тот, и я, разделив это непонятное слово на два, пришел к выводу, что мы имеем дело с особой породой волов. Но от этого легче не стало.

Здание не было рассчитано на школу, и, чтобы попасть в наш класс, мы должны были пройти через целую анфиладу других классов — через комнату, где занимался второй «Б», и через комнату «ашек», первоклассников. Опоздавших они всегда встречали свистом и насмешливым гвалтом. Занимались мы в комнате с потемневшим лепным потолком и огромной изразцовой печью. На изразцах опять-таки были изображены геральдические щиты и бурбонские лилии. Парты были и старые, дореволюционные — черные, изрезанные и новые — белые, чистые до поры до времени; их сделали на субботнике в подарок школе рабочие фанерного завода. Нам с Колькой досталась старинная. На ней пестрело много чернильных пятен, а подняв крышку, можно было прочесть глубоко и старательно вырезанную мемориальную надпись: «Пачетный камчадал и третьегодник Н. Яковлев».

Иногда Колька толкал меня в бок локтем: «Давай в крестик-нолики играть». И мы приступали к этой нехитрой игре. Если у нас возникал спор, грозящий перейти в потасовку, к нам подходил учитель рисования, добрый старик Марихин, и, укоризненно качая головой, говорил: «Что за шум, дети, почему вы, дети, не рисуете куб?»

— Владимир Никифорович, мы же освобождены от рисования, мы неспособники, — с оттенком гордости отвечал Колька.

— Ах да, я и забыл, ведь вы оба неспособные... Но только, дети, ведите себя потише, не мешайте другим.

Теперь это может показаться странным, но в те дни в школе было самоуправление — ученический комитет, учком, куда входили ребята из второй ступени. И вот учком было вынесено постановление, что на второстепенные предметы являться должны все, чтобы не срывать уроков, но кто неспособен, тот может сидеть и не заниматься. А так как ни у кого на лбу не написано, на что он способен, то каждый ученик решал сам, есть ли у него призвание к тому или иному предмету или нет. Так появились

Шефнер В.

Ш 53 Сестра печали и другие жизненные истории : романы, повести, рассказы, документальная проза / Вадим Шефнер. — СПб. : Азбука, Издательство АЗБУКА, 2026. — 1152 с. — (Русская литература. Большие книги).

ISBN 978-5-389-30199-3

В «фантастическом» томе Шефнера, выпущенном издательством «Азбука» двумя изданиями, отмечалось, что основа шефнеровского письма — принцип обыкновенного чуда. Обыкновенное чудо, да. Конечно, это скромные гении, герои шефнеровских повестей и рассказов, для которых чудо вовсе никакое не чудо, — ну сделали, ну придумали, смастерили, а дальше само пошло: главное, чтобы это чудо хоть кому-нибудь принесло радость. Или пользу. Или мир переделало бы на благо людей хороших. Чего в жизни бывает редко, практически никогда.

В этой книге чудо в ином. Не в «сделали, придумали, смастерили». Названная «Сестрой печали» по главному входящему в нее сочинению... нет, скорее исповеди героя, испытавшего в жизни столько, что не дай Господь Бог кому-нибудь подобное испытать... — эта книга о смысле жизни и о тех непростых путях, которыми человек проходит, чтобы в результате понять, зачем он в жизни и для чего. Война, трудные предвоенные годы, мечты, надежды, желанья, съеденные гегелевским кротом истории, — в этих безыскусных рассказах, собранных под одну обложку, открывается нам жизнь человека, свидетеля, соучастника, в конце концов собеседника, если человек говорит со временем на одном с ним языке, — и это жизнь настоящая, выдержанная, как выдержано вино, которое не отупляет, а побуждает.

Как в «Лачугу должника» вошла вся шефнеровская «фантастика» (а скорее, современная сказка), так настоящий сборник включает в себя полное собрание его реалистической прозы, в том числе автобиографические вещи, военные дневники и десятилетиями не переиздававшиеся сочинения.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ ШЕФНЕР
СЕСТРА ПЕЧАЛИ
И ДРУГИЕ
ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ

Ответственный редактор Александр Етоев
Редактор Александр Гузман
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Мария Антипова
Компьютерная верстка Ирины Варламовой
Корректоры Ольга Золотова, Светлана Федорова, Антонина Семенова

Подписано в печать / Баспаға қол қойылды 17.10.2025.
Формат издания 60 × 88 ¹/₁₆. Печать офсетная. Тираж 3000 экз.
Усл. печ. л. 70,56. Заказ №

Изготовитель:	Өндіруші:
ООО «Издательство АЗБУКА» —	«АЗБУКА Баспасы» ЖШҚ —
обладатель товарного знака АЗБУКА®,	АЗБУКА® тауар белгісінің иесі,
115093, Москва, вн. тер. г.	115093, Мәскеу, қ. іш. аум.
муниципальный округ Даниловский,	Даниловский муниципалдық округі,
пер. Партийный, д. 1, к. 25	Партийный т.ш., 1-үй, к. 25
Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19	Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru	E-mail: sales@atticus-group.ru
Филиал ООО «Издательство АЗБУКА»	Санкт-Петербург қ.,
в г. Санкт-Петербурге,	«АЗБУКА Баспасы» ЖШҚ филиалы,
191024, Санкт-Петербург,	191024, Санкт-Петербург,
Херсонская ул., д. 12–14, лит. А	Херсон көшесі, 12–14 үй, лит. А
Тел. (812) 327-04-55	Тел. (812) 327-04-55
E-mail: trade@azbooka.spb.ru	E-mail: trade@azbooka.spb.ru
www.azbooka.ru	www.azbooka.ru
Отпечатано в России.	Ресейде басып шығарылған.

Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылымның сәйкестігін растау туралы
мәліметтерді мына адрес бойынша алуға болады: <https://certification.atticus-group.ru/>.

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Ақпараттық өнім белгісі
(29.12.2010 ж. № 436-ФЗ федералдық заң)



Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



Y-ARL-39358-01-R